

К шестидесятилетию Иосифа Бродского

ПОБЕДА С НЕГОДНЫМИ СРЕДСТВАМИ

Александр Вяльцев

ВСЕ НАСТОЯЩИЕ поэты — недоучки. Цветаева, Ахматова, Волошин, Гумилев имели лишь гимназический курс. Не кончил университета Мандельштам. Все их образование — это самообразование. И все равно они стали великими поэтами, лучшими нашими поэтами, куда более совершенными, чем высокообразованные символисты (исключая Блока). Пастернак, впрочем, кончил все что можно и даже поехал к философам в Марбург. Но он никогда и не собирался быть поэтом. Поэзия возникла из кризиса его самоощущения как музыканта и философа.

В наше время это подтверждается на примере Бродского. Те же, кто кончил всевозможные университеты, а потом еще и Литинститут, — неплохо устроились в литературе, но великими не стали.

Ибо все дело — в самовоспитании, в вызове, в освоении оружия, пригодного именно для *твоей* борьбы, борьбы *со своим врагом*, в отказе от накатанной и более облегченной дороги. В приоритете творчества над карьерой. В желании выбрать судьбу художника как отшельника и сумасшедшего.

Современные же вписываются не менее умно и выгодно, чем все прочие *нехудожники*. И остаются по большому счету бесплодными. Пример Бродского очень греет их — но по какому праву?

Какое вообще право мы имеем на Бродского, почему осмысляем его феномен? Он никогда не был *нашим* — пока жил здесь, в эстетском, высокомерном эпикурействе, тем более — когда остался там. Именно *остался*, один раз уже переживши «инфаркт» отрыва, вынужденное сжигание кораблей.

Мой знакомый, хороший тонкий человек, додумался, что он (Бродский) был всегда в стороне и *выше* нас. Он следовало бы писать с большой буквы. В стороне — да, но почему же *выше*, откуда это следует?

Он был *в стороне* от нас — это точно, в прекрасном далеке. Ни родина, ни Бог (см. статью Бродского о Кавафесе в «ИЛ» № 12 за 1995 год) не были для него важными понятиями: он был космополит и эпикуреец в лучшем европейском смысле — плохая подделка под Набокова. Ибо Набоков-то, маскируясь, *страдал*, и проговаривался. Он-то не мог без России и при любой возможности вернулся бы сюда. Бродскому было хорошо и в его Америке, так о чем тогда говорить? О чем-то таком *вообще*? Рассуждать о чем-то узко эстетическом, как бы в духе чистого искусства? Ну и бросать дежурные фразы о тиранах, столь мало и недолго его мучивших. Забыв о тех, кто по эту сторону океана, кто за него боролся и его любил. Я ему не нужен? — и он мне так же. И поэзия его давно мне стала безразличной, особенно позднего периода. И проза. Все это выхолощено, искусственно и далеко. Да, это хорошо сделано, да, здесь есть стиль и чувство вкуса, да, Бродский очень великий человек, очень европеец, он мало говорит о себе. Ну и что? А каково солдатам на Кавказе, а каково работягам на железнодорожном полотне в двадцатиградусный мороз, когда даже моча застывает на лету, каково женщинам в темном московском переулке? Каково тем, кто здесь? Каково несчастным любовникам? Каково тем, кого просто текст и сочинения многоуважаемых мэтров не спасут? Бродский их не знает, они для него дикари или старый кошмарный сон. Он захотел жить в своей оранжерейке — милое, понятное желание. Но у меня другие проблемы. Мы живем на родной земле, и мучаясь и черпая отсюда силу. Я даже не знаю — умен ли он был. Но вот воспитан — это точно. Он давно уже был памятником, легенда — и теперь просто окончательно забронзовел. Опровергнув свои ранние прекрасные стихи: «*Ни страны, ни погоста / не хочу выбирать, / На Васильевский остров / я приду умирать*».

Может быть, за это отчуждение, за эту позу он заплатил сво-

ей судьбой. Ему от многого пришлось отказаться: всего того, что составляло сюжет его жизни, запахов и мотивов родины, нараивающих бытие на уникальный лад, всего прежнего вообще, кроме книг, на смену чему пришло более легкое, но чужое. Отказаться от земли, на которой стоял, что почти что равно отказу от «я». Только пустые люди могут перенести эмиграцию легко. Человек, переживший эту трагедию, равную, может быть, трагедии потери самых близких людей (а эмиграция в те годы означала и это), не может не измениться навсегда. Ему пришлось до некоторой степени отрезать родину, вытеснить ее из опыта, чтобы ослабить боль. Стать другим человеком. Тем, кто пишет стихи и этим спасается. В эмиграции ему остались одни стихи. Это страшный опыт. «*Если выпал в Империи родиться*» — лучше быть последним ее парием, жить на самой дальней оконечности ее — но не в изгнании. В этом весь Овидий. Вдохновение Бродского — того же рода.

Эмиграция изменила поэзию Бродского. В восхитительных городах Италии он пережил полное одиночество, анонимность. Не было связи с людьми — и приходилось фиксировать мимолетные связи с предметами. Стихи, по выражению Самуила Лурье, стали напоминать *протокол осмотра*. Даже появляется настроение и мелодика Георгия Иванова, самоуничтожения, самоотрицания. Поэзия все более абстрагируется, срывается в солипсизм.

Бродский страшился, как смертельного потрясения, приезда на родину. Он купался в чистом эфире звука, защищенный от существования стеклянной стеной поэзии, которую ничего не стоит сокрушить небольшим усилием. И поэтому писал отличные стихи. Повторение его опыта — ужасно. Но, не будучи героем, он сделал из необходимости доблести и победил негодным оружием на чужом поле. Этот факт и представляет самый большой интерес.